



ЛЕВ  
**ШЕСТОВ**

Лев Шестов

## Апофеоз беспочвенности

«Апофеоз беспочвенности» —  
основательная работа Шестова,  
вышедшая в свое время бурно  
и недружелюбно раскритикованно. Несмотря  
в этот период жизни ВСС — и его  
накапливаясь парадоксы,  
и абсурдизм, ставил перед  
задачей, и — прежде всего — сама  
основная идея обсуждения  
человеческого существования  
и привнесла свободу человеческой  
личности над общественными нормами.

# Лев Исаакович Шестов

## Апофеоз беспочвенности

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=177386](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177386)*  
*Апофеоз беспочвенности: АСТ; Москва; 2004*  
*ISBN 5-17-021915-6*

### **Аннотация**

«Апофеоз беспочвенности» – основополагающая работа Шестова, вызвавшая в свое время бурную и неоднозначную реакцию. Необычно в этом произведении ВСЕ – и его насыщенность парадоксами, и афористическая, смелая манера изложения, и – прежде всего – сама основная идея абсурдности человеческого существования и приоритета свободы человеческой личности над общественными нормами.

# Содержание

Предисловие	5
Часть первая	13
1	13
2	14
3	15
4	16
5	17
6	18
7	19
8	20
9	21
10	22
11	23
12	24
13	25
14	26
15	27
16	28
17	29
18	31
19	32
20	33
21	34
22	35
23	36
24	37
25	38
26	40
27	41
28	42
29	43
30	44
31	45
32	46
33	47
34	48
35	49
36	50
37	51
38	52
39	53
40	54
41	55
42	56
43	57
44	58

45	59
46	60
47	61
48	62
49	63
50	64
51	65
52	66
53	67
54	68
55	69
56	70
57	71
58	72
59	73
60	74
61	75
62	76
63	77
64	78
65	79
66	80
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Лев Шестов

## Апофеоз беспочвенности

### (опыт адогматического мышления)

#### Предисловие

#### I

Нужно оправдываться – сомнения быть не может. Вопрос лишь, с чего начинать: с оправдания формы или содержания настоящей работы. На Западе афористическая форма изложения – явление довольно обычное. Иное дело у нас. У нас полагают, что книга должна представлять из себя последовательно развитую систему мыслей, объединенных общей идеей – иначе она не оправдывает своего назначения... И точно, если бы книга не могла иметь никакого другого назначения, – то афоризм был бы этим самым навсегда осужден. Разрозненные, не связанные между собой мысли в лучшем случае могли бы рассматриваться как сырой материал, который может получить некоторую ценность лишь после соответствующей обработки. Но по мере того, как растет недоверие к последовательности и сомнение в пригодности всякого рода общих идей, не должно ли явиться у человека отвращение и к той форме изложения, которая наиболее приспособлена к существующим предрассудкам? Говорю по опыту. Настоящей работе я менее всего предполагал придать ту форму, которую она сейчас приняла. Во мне уже до известной степени успела вкорениться привычка к последовательному и систематическому изложению, и я начал писать, даже довел до половины работу по тому же приблизительно плану, по которому составлял и свои предыдущие сочинения. Но чем дальше подвигалась работа, тем невыносимее и мучительнее становилось мне продолжать ее. Некоторое время я и сам не мог отдать себе отчета, в чем тут, собственно, дело. Материал давно готов – осталась только чуть ли не внешняя компоновка. Но то, что я принимал за внешнюю обработку, оказалось гораздо более существенным и важным делом, чем мне казалось. С удивлением и недоумением я стал замечать, что, в конце концов, «идеи и „последовательности“ приносилось в жертву то, что больше всего должно оберегать в литературном творчестве – свободная мысль. Иногда незаметное, пустячное на вид обстоятельство, – например, место, отведенное той или другой мысли, или случайное соседство уже придавали ей нежелательный оттенок отчетливости и определенности, на которые я не имел никакого права и которых менее всего желал. А все „потому что“ заключительные „итак“, даже простые „и“ и иные невинные союзы, посредством которых разрозненно добытые суждения связываются в „стройную“ цепь размышлений, – Боже, какими беспощадными тиранами оказались они! Я увидел, что так писать – для меня по крайней мере – невозможно. Ведь все мои собственные воспоминания читателя говорили мне, что самое обременительное и тягостное в книге – это общая идея. Ее нужно всячески вытравлять, если только не хочешь стать ее данником и бессловесным рабом, а меж тем до тех пор, пока сохраняется принятая форма изложения, идея не только будет главенствовать, но и подавлять собой все содержание книги. Ибо каким иным путем может быть достигнуто единство и цельность в сочинении? Я убедился, что другого исхода нет, что нужно вновь разобрать по камням наполовину уже выстроенное здание и, рискуя возбудить против себя негодование читателей и в особенности критики, которая, разумеется, в нарушении традиционной формы не захочет увидеть ничего, кроме странной причуды, представить работу в виде ряда внешним образом

ничем не связанных меж собой мыслей... Нет идеи, нет идей, нет последовательности, есть противоречия, но ведь этого именно я и добивался, как, может быть, читатель уже и угадал из самого заглавия. Беспочвенность, даже апофеоз беспочвенности, – может ли тут быть разговор о внешней законченности, когда вся моя задача состояла именно в том, чтоб раз навсегда избавиться от всякого рода начал и концов, с таким непонятным упорством навязываемых нам всевозможными основателями великих и не великих философских систем. Современный законодатель мысли устанавливает незыблемый принцип: уметь кончать. Но попробуйте допросить его: что дает ему право с такой уверенностью провозглашать свой закон – и вы увидите, что у него, в сущности, ничего, кроме „доказательств по аналогии“, нет за душой. Дом без крыши никуда не годится, – ergo размышления без начала и конца должны быть отвергнуты. Но ведь дом и без печей не удовлетворяет своему назначению – неужели же из-за этого писателям обзаводиться дымовыми трубами и заслонками? Да и вообще ведь доказательства по аналогии самые бедные и неубедительные доказательства, собственно говоря, даже совсем и не доказательства. А меж тем, сколько я ни напрягаю память, я не могу припомнить в пользу законченности больше ни одного серьезного довода. Домом с крышей исчерпывается все. Ведь нельзя же в данном случае ссылаться на стремления нашего разума!? К чему только не стремился уже наш бедный разум и чего только уже не оправдывали его стремлениями! Когда-то, по крайней мере, на него возлагали большие надежды – и тогда было естественно потакать его потребностям, даже дурным привычкам, вкусам и капризам. Но теперь, когда все так ясно сознали его бессилие, когда даже метафизики взялись за естественные науки и ни на минуту не спускают глаз с теории познания – неужели и теперь имеет смысл считаться с потребностями разума?! Не наоборот ли? Не является ли главной задачей нашего времени научиться искусству обходить (а то и разрушать) все те многочисленные заставы, которые под разными предлогами выстраивались в старину могущественными феодалами духа и лишь в силу вечного консерватизма трусливой и близорукой человеческой природы и доныне продолжают еще считаться непреодолимыми, даже „естественными“ преградами для движения нашей мысли? Зачем кончать? Зачем последнее слово? Зачем мировоззрение?.. Разумеется, я говорю о философии и о философах, о людях, стремящихся как можно более увидеть, узнать, испытать в жизни. Для обыкновенной житейской практики законченность по-прежнему останется неизменным догматом. Дом без крыши, точно, никуда не годится... Но незаконченные, беспорядочные, хаотические, не ведущие к заранее поставленной разумом цели, противоречивые, как сама жизнь, размышления – разве они не ближе нашей душе, нежели системы, хотя бы и великие системы, творцы которых не столько заботились о том, чтоб узнать действительность, сколько о том, чтоб „понять ее“? „Если моя теория не согласуется с фактами, – то тем хуже для фактов“, – сказал Гегель. Мне кажется, что вслед за ним и многие другие могли бы повторить эти „гордые“ слова – но не все успевают при жизни добиться гегелевской славы, при которой только и разрушается роскошь такой самоуверенной откровенности. Философы, естественно, ценят свои системы очень высоко: нелегко они им даются, на них ухлопывается целая жизнь. Да и спрос на мировоззрения велик. Человек, действительно, хочет „понять“ мир – и иногда так сильно хочет, что желание заглушает в нем всякую способность критически относиться к представляемым доводам, и он с восторгом приветствует даже слабую аргументацию. Теперь никто не скажет: *credo, quia absurdum*,<sup>1</sup> – но это не значит еще, что мы вполне эмансипировались от средневекового суеверия, что у нас нет своего *credo* и своего *absurdum*, только, разумеется, приспособленных к духу рационалистически настроенного века железных дорог и электричества. Впрочем, не нужно даже обманывать себя иллюзией новизны. Если порыться в памяти, то для нашего символа веры мы можем найти готовую формулу

<sup>1</sup> Верю, потому что невероятно (*лат.*)

в пережитках далекой старины. Как ни дисциплинируйте человеческий ум, он все же ухитрится под тем или другим предлогом забраться под какую-нибудь «сень», чтобы на досуге вволю предаться своим порочным наклонностям, главным образом *dolce far niente*.<sup>2</sup> На что, кажется, беспощадно поступает современная методология! «Вере» строжайше воспрещено на выстрел приближаться к областям, где царит строгое научное исследование. Были приняты самые разнообразные способы предупреждения, дабы коварная оболстительница как-нибудь тайком не нашла себе приюта не только в уме, но и в «сердце» человека. «Вера ненаучна» – теперь это знает даже ребенок, и с школьного возраста нас приучают оберегаться от сближения с особой, навсегда скомпрометировавшей себя таким изобретениями, как астрология, алхимия и т. д. И если вы ознакомитесь с современными учениями о методах, вы уйдете от них совершенно успокоенным: сквозь частую сеть настроенных ими охранных постов, по-видимому, никакая вера не проберется в душу современного человека, будь она даже незаметнее булавочной головки. В положительности современного знания никто не сомневается, даже самые подозрительные и искушенные люди. Когда Толстой или Достоевский начинали воевать с наукой, они всеми силами старались перенести спор на моральную почву. Наука права, права, об этом разговору быть не может, но она служит богатым, а не бедным, она развивает в людях дурные страсти. Даже Ницше не всегда имел достаточно смелости пред лицом современной науки, и его смущала занятая ею неприступная позиция.

Но, к счастью, все, что есть дело человеческих рук, при ближайшем рассмотрении оказывается несовершенным. Столетия прогрессивной научной работы дали блестящие практические результаты, но в области теоретической мысли новое время почти ничего не сделало, хотя мы и насчитываем длинный ряд громких имен, начиная с Декарта и кончая Гегелем. Наука покорила человеческую душу не тем, что разрешила все ее сомнения, и даже не тем, что она, как это думает большинство образованных людей, доказала невозможность удовлетворительного их разрешения. Она соблазнила людей не своим всеведением, а житейскими благами, за которыми так долго бедствовавшее человечество погналось с той стремительностью, с какой измученный продолжительным постом нищий набрасывается на предложенный ему кусок хлеба. Венцом положительных наук считается социология, обещающая выработку таких условий общежития, при которых нужда, горе и страдания навсегда исчезнут с земли. Это ли не соблазн? И разве ради таких заманчивых перспектив не стоит отказаться от призрачных надежд, которыми в прежние времена жило человечество? И на смену старого *credo, quia absurdum* явилось новое, вернее, обновленное и неузнанное *credo, ut intelligam*.<sup>3</sup>

Нужно только понять окружающий мир – и величайший идеал, когда-либо рисовавшийся человеческой фантазии, будет осуществлен. На радостях никто и не заметил, что бедный человеческий разум, руководимый на этот раз самой наукой, этой воплощенной осторожностью и недоверчивостью, снова попал впросак, и что вера в «понимание» не имеет решительно никаких преимуществ, сравнительно с другими, раньше властвовавшими над людьми верами. Да к тому же еще идеал, слово, пред которым человечество чуть ли не с колыбели своей привыкло гнуть колени. Где уж тут поверять, подозревать, допрашивать! Нет ни одного философски образованного человека, которому не было бы памятно схоластическое *credo, ut intelligam*, – но все убеждены, что к нам оно никакого отношения не имеет и что мы далеки от того младенческого состояния, при котором вера определяет характер и направление умственных интересов. Мы до того убеждены, что научное воспитание предохранило нас навсегда от возможности несообразных увлечений, что в последнее время даже вновь разрешили открыто приблизиться к себе бедной изгнаннице. «Это нашим предкам опасно было знаться с верой. Невышколенные и некультурные люди – они не умели пользо-

<sup>2</sup> Сладостное безделье (*ит.*).

<sup>3</sup> Верю, чтобы понимать (*лат.*).

ваться огнем и всегда становились его жертвой. Мы же спокойно будем наслаждаться теплом и светом, ибо знаем все свойства опасной стихии и не боимся их разрушительного действия». Такие и им подобные рассуждения усыпили подозрительность человеческой мысли и привели к неслыханному дотоле торжеству науки. Кому придет теперь охота повторить старый вопрос: в чем истина? Кто не знает, что этот вопрос не имеет никакого смысла с научной точки зрения, ибо какой бы ни получился на него ответ, это нисколько не повлияет на ход и характер научных изысканий? Наука вперед знает, чего она хочет, и свои стремления формулирует в виде положений, которые она называет аксиомами или не требующими доказательств предпосылками.

## II

В последнее время, когда вечные теоретические споры особенно обострили вопрос о происхождении аксиом, в философской литературе наблюдается чрезвычайно важное, на мой взгляд, даже знаменательное явление. В Германии целый ряд ученых философов выступает с попыткой так называемой нормативной теории закона причинности. Существенно нового в этом нет. Нормативная теория есть только своеобразная форма кантианства. Но здесь важно, что современные ученые считают необходимым особенно резко подчеркнуть те стороны кантовского учения, которые сам знаменитый основатель трансцендентального идеализма не находил нужным выдвигать на первый план. Связь науки с этикой у Канта ясна для всякого и помимо исследований его новейших учеников. Но у него, хоть он и признавал примат практического разума, закономерность явлений природы никогда не изображалась находящейся в прямой зависимости от наших этических требований. У него «закон» деспотически царил и над явлениями внешнего мира, и над человеческой душой. Но этим вся связь исчерпывается. Природа и человек повинуются – Канту этого было вполне достаточно. Современные же мыслители – захотели ли они большего, или почувствовали, что сохранить позицию Канта в неприкосновенном виде уже невозможно – пошли дальше. Они не признают независимого закона для теоретического разума – они его ставят под начало и контроль практического разума и делают попытки этического обоснования самостоятельной у Канта категории причинности. Вместе с Кантом они утверждают, что закономерность не свойственна явлениям внешнего мира, что ее туда привносит с собой человеческий разум, но привносит не потому, что по неисповедимым судьбам он принужден волей-неволей выступать в этой, быть может, и очень низменной и двусмысленной полицейско-административной роли, а потому, что эта роль есть *высшая, самой моралью оправданная и освященная роль*. А раз мораль появилась на сцену – шапки долой, дальнейших разговоров не полагается.

Теперь, быть может, читатель поймет, какой смысл и какое великое значение имел поход Ницше против морали. Немецкие философы, создавшие этическое обоснование закона причинности, шли своим путем и, вероятно, даже не подозревали о существовании Ницше. В свою очередь, Ницше, еще в 70-х годах оторвавшийся от университетской жизни, да и вообще мало интересовавшийся современными философскими учениями, вероятно, и не слышал ничего о новейших течениях в немецкой философии и менее всего мог думать, что занимается одним делом с официальными представителями этой науки. Правда, он занимался по-своему. В то время, когда в Германии напрягались все силы, чтоб поддержать падающий престиж закономерности, и бросали на карту последнюю и самую драгоценную ставку, мораль – больше уже нечем было рассчитывать, – Ницше высказал неожиданное суждение, что расплата производится фальшивой монетой, что мораль сама требует оправдания и, стало быть, не может отвечать за науку. Этой мысли Ницше с желательной полнотой и отчетливостью нигде не формулировал. Я не уверен даже, что он ясно сознавал ее. По-видимому, он скорей инстинктом чуял, что с наукой до тех пор невозможно бороться, пока

не будет свалена ее вечная и могучая союзница – мораль. Инстинкт, как мы видели, не обманул его. Теперь наиболее осторожные люди убеждаются, что основные предпосылки, аксиомы научного знания держатся только моралью. Такое признание было с их стороны преждевременным? Они не могли думать, что их тысячелетняя мораль потеряет когда-либо свое обаяние? Весьма возможно – но слово сказано и вряд ли когда-нибудь забудется. Толстой, Достоевский и другие пытались восстановить против науки мораль – но их усилия в этом направлении оказались бесплодными. Нравственность и наука – родные сестры, родившиеся от одного общего отца, именуемого законом, или нормою. Временами они могут враждовать меж собой и даже ненавидеть одна другую, как это часто бывает между родными, но рано или поздно кровь скажется, и они примирятся непременно. Немцы это знают хорошо. У них везде – в школе, в армии, в морали, в полиции, в философии один высший принцип: порядок прежде всего. И, спору нет, принцип полезный: стоит только вспомнить, какие блестящие победы на всевозможных поприщах одержали наши дисциплинированные соседи за самое короткое время. Еще недавно они стояли в хвосте европейской культуры, теперь они заявляют, и совершенно основательно, притязания на гегемонию. И если бы наука и мораль ставили себе только утилитарные задачи, нужно было бы признать, что они своего достигли. Но они, как известно, добиваются большего. Они хотят себе суверенных, верховных прав над человеческой душой, и тут снова является старый вопрос, которого, несмотря на все теории познания, человечество никогда не забывало и никогда не забудет. Снова спрашивают: в чем истина? Наука безмолвствует. Мораль, по привычке, оглушительно выкрикивает старые, потерявшие смысл слова. Но им уже мало кто верит.

### III

Мораль научна – наука моральна. Ясно, что теория познания проглядела нечто чрезвычайно существенное. Предпосылка критической философии: разум, в исследовании способности которого она полагает свою главную задачу, есть нечто неизменное, всегда себе равное, – совершенно произвольна и ни на чем не основана. Вся уверенность Канта держалась только на его готовности объединить математику с естествознанием под одним общим именем науки. Но откуда такая готовность? Для человека беспристрастного, для человека принужденного быть беспристрастным, – ибо кто добровольно захочет отказаться от своих страстей и желаний? – тут только открывается во всей своей несомненности одно чрезвычайно важное обстоятельство. Всякий философ-исследователь рано или поздно сбрасывает с себя намозолившую ему спину вязанку чистых идей и делает привал, чтобы зачерпнуть живой воды из эмпирического источника, – хотя бы он и дал вначале самое торжественное обещание не прикасаться к эмпиризму. Канту нужно было остановиться, Канту больше всего в жизни нужен был отдых и конец – после того трудного перехода, на который вынудил его своим скептицизмом Юм. Но прямо признаться в своей человеческой слабости и сказать, как говорит всякий истомившийся путник: «Я устал и хочу отдохнуть, хотя бы на заблуждении, хотя бы на воображаемой вере в достигнутую цель», – с тех пор как существует философия, разве кто-либо из основателей великих систем разрешал себе такую откровенность? Но и то сказать: кто хочет приобрести славу Александра Македонского и покорить мир, не распутывает, а разрубает гордиевы узлы. Когда человек теряет способность и силы двигаться вперед, он начинает утверждать, что дошел до конца, что дальше идти некуда и не нужно, что пора остановиться и начать строить мировоззрение. Здесь, быть может, и кроется загадка того, что каждое новое поколение выдумывает свои истины, нимало не похожие на истины предыдущих поколений и даже не имеющие с ними никакой преемственной связи – хотя историки из сил выбиваются, чтобы доказать противное. Какая может быть связь и взаимное понимание между бодрым юношей, вступающим в жизнь, и усталым стариком,

подводящим итоги своему прошлому? Да и усталость усталости рознь. Иной раз сон бежит от измученного непосильным трудом и долгим бдением человека, и, наоборот, как часто это капризное божество дарит своими благами ленивого и досужего бездельника. Вот тут-то и поди с рассуждениями о благотворности отдыха и необходимости концов! Какие бы строгие доказательства вы ни приводили, с какою бы уверенностью вы ни становились в позу Александра Македонского, в известных случаях вся ваша аргументация и весь пафос декламации будут потрачены даром. По воле судьбы этому человеку не до отдыха, не до сна. Прославлять сон и покой, говорить о нравственной обязательности сна и покоя пред человеком, для которого непрерывная бессонница и вечная внутренняя тревога стали почти второй природой – разве может быть более бесцельный и плоский вид издевательства? Всякие концы и последние слова, даже прославленные метафизические утешения, покажутся ему праздною и раздражающею болтовней. Если бы спросили его: «Куда ты идешь, на что ты надеешься?» – он, вероятно, ответил бы вам словами поэта:

Je vais sans savoir où, j'attends sans savoir quoi.<sup>4</sup>

Неужели вы думаете, что этот человек захочет вместе с Кантом и кантианцами возвести в перл создания норму, закон, порядок, или, чтоб понять мир, он допустит какую-нибудь предпосылку, предлагаемую ему этикой? Да он вовсе и не ищет «понимания». Понять – это значит свести неизвестное к известному, но ведь все известное он видел, испытал, допросил, и от известного он бежал без оглядки. Если у него может быть какая-нибудь надежда, – то только в предположении, что *неизвестное ничего общего с известным иметь не может*, что даже известное не так уж известно, как это принято думать, и что, следовательно, все предпосылки и бесчисленные веры, которыми утешались отдельные лица и целые народы, были только обманчивыми иллюзиями, быть может, и не лишены красоты, но недолговечными и далекими от действительности. В его терминологии слово «понять», а вместе с ним и слово «конец», вероятно, совсем отсутствуют. Разве нужно понять мир, разве нужно ограничивать наше познание мира тем, что мы уже испытали и узнали раньше? У него одно желание – идти вперед. Куда он придет, где найдет приют? Эти вопросы потеряли для него смысл. Он все больше и больше убеждается, что слова «покой», «приют» и другие, им равнозначные, далеко не имеют той ценности, по какой они котируются в философии. Какое право имеют люди ввиду того, что происходит на их глазах, утверждать, что последней целью нашего существования являются успокоенность и самоудовлетворенность? И что человеческий язык и тот человеческий опыт, для которого мы нашли уже соответствующие слова, достаточен для выяснения всех тайн жизни?..

Все это может показаться не относящимся к делу. Мне заметят, что когда возбуждаются философские вопросы, всякие лирические отступления несвоевременны, что их нужно отвести в область поэзии, что когда речь идет о законе причинности, то даже сам Шекспир должен умолкнуть и только слушать, что ему говорят сведущие люди. Это было бы справедливо, если бы философы имели в своем распоряжении самостоятельные и независимые приемы исследования, если бы философы состояли из одних идей, а не из нервов и мускулов... Вошедшая в поговорку невозмутимость духа большинства представителей науки породила не только в публике, но и среди посвященных убеждение, что решающим моментом в суждении философа всегда являются сухие, объективные доводы. Да и темы его на вид таковы, что никакая «душа» не заинтересуется ими, хоть обещайте ей в награду личное бессмертие и магометанский рай со всеми его конкретными прелестями... Но, как я уже говорил, это чистейшее заблуждение. Философ знает усталость, которая какой угодно конец

<sup>4</sup> Я иду неведомо куда, я жду неведомо чего (*фр.*).

предпочитает продолжительному скитанию. Философ больше чем кто-нибудь другой боится неясности и неопределенности и за одно отчетливое заблуждение отдаст вам целый десяток трансцендентных, но шатающихся истин. А как боится он колеблющейся, неверной почвы! Помните вы страстные мечтания Гейне на корабле во время качки о родной Германии?

... Immerhin, mag Thorheit und Unrecht  
Dich ganz bedecken, o Deutschland.  
Ich sehne mich dennoch, nach dir:  
Denn wenigstens bist du doch festes Land.<sup>5</sup>

Не приходили ли те же мысли Канту, когда он читал рассуждения Юма, колебавшие основные принципы науки? Философ – человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Он любит большие, хорошо утопанные дороги, на которых легко и свободно движется теоретическая мысль, где нет ни деревца, ни травки даже, где царит прямая линия. Лучше всего он чувствует себя на широком, выровненном плацу. Здесь, под удар барабана, можно смело пройти торжественным церемониальным маршем, не глядя вперед, не озираясь назад, с одной заботой не сбиться с такта и давать как можно больше «ноги». Философ ценит только логическое мышление, т. е. беспечное движение по раз принятому направлению, ибо таким образом сила *инерции* не растрачивается на вечные оглядки, искания путей, на борьбу с «свободой воли» и ее постоянными спутниками – сомнениями. Правда, обыкновенно философ охотнее говорит о парении, чем о маршировке, и никогда не выставляет на вид, что логика, главный источник его сил, только по забывчивости до сих пор еще не сведена на очную ставку с законом инерции, одним из выражений которого она есть, была и будет. Но давно известно, что все люди питают слабость к высоким словам...

Я далеко не исчерпал всех привычек и вкусов ученого человека, но, полагаю, сказанного достаточно. Очевидно, он клеветает на себя, утверждая, что у него нет «души» и страстей, что он весь воплощенное стремление к отвлеченной истине, что его «убеждения» не коренятся в его психологии и что Шекспир не должен быть привлечен к обсуждению вопроса о законе причинности, философ боится, радуется, любит, ненавидит, устает, потягивается, дремлет, даже спит – совсем, как обыкновенные смертные, хотя имеет привычку употреблять слова и термины, непонятные и как будто бы даже чуждые непосвященным, даже для обозначения самых повседневных, чуть ли не физиологических своих отправлениях. Основные предпосылки философии, ее аксиомы, стало быть, отнюдь не должны быть принимаемы за объективные утверждения. Спокойствие, ровность, холодность, равнодушие – тоже человеческие черты, которые, может быть, и способствуют приближению к истине, а, может быть, порождают неповоротливость и тяжеловесность, навсегда прикрепляющие человека к привычному месту и заранее осуждающие его на прочные и почтенные, но близорукие и ошибочные суждения. Настоящий исследователь жизни не вправе быть оседлым человеком и верить в определенные приемы искания. Он должен быть готов ко всему: уметь вовремя заподозрить логику и вместе с тем не бояться прибегнуть, когда нужно, хотя бы и к заклинаниям, как делали Достоевский и Ницше. Он должен уметь держаться прямо и глядеть на небо, но он же должен, когда нужно, не побрезгать согнуться в три погибели и искать истину на земле. Если человек вам скажет: *scire est per causas scire*,<sup>6</sup> можете больше не сомневаться: он уже не существует для философии, и философия не существует для него. Давно пора

---

<sup>5</sup> Даже если ты вся будешь охвачена безумием и несправедливостью, о Германия, я все же буду тосковать по тебе, хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (*нем.*).

<sup>6</sup> Знание есть знание причин (*лат.*)

бросить старые предрассудки и открыто заявить: *per causas scire est nescire*.<sup>7</sup> И тут, пожалуй, Шекспир пригодится. Он расскажет вам, что есть неизвестное, которое никоим образом не может и не должно быть сведено к известному. Что порядок, о котором мечтают философы, существует только в классных комнатах, что твердая почва рано или поздно уходит из-под ног человека, и что после того человек все-таки продолжает жить без почвы или с вечно колеблющейся под ногами почвой, и что тогда он перестает считать аксиомы научного познания истинами, не требующими доказательств, что он перестает их считать истинами и называет ложью. И что мораль, если только можно, не играя словами, назвать моральным его отношение к миру и людям, называет знание по причинам самым несовершенным знанием. Его девиз: апофеоз беспочвенности... Но «философ» давно уже не слушает. Все лучше, чем беспочвенность. Много грязи, пошлости, гадости и глупости в тебе, Германия, —  
Wenigstens bist du doch festes Land.<sup>8</sup>

*Л.Ш.*

---

<sup>7</sup> Зание причин есть незнание (*лат.*)

<sup>8</sup> Хотя бы потому, что ты твердая, надежная земля (*нем.*).

## Часть первая

*Zu fragmentarisch ist Welt und Leben.*  
*H. Heine.<sup>9</sup>*

### 1

Дальние улицы жизни не представляют тех удобств, которыми привыкли пользоваться обитатели городских центров. Нет электрического и газового освещения, даже керосиновых фонарей, нет мостовых – путнику приходится идти наугад и в темноте ощупывать дорогу. Если хочешь огня, нужно ждать молнии, либо самому добыть искру тем первобытным способом, какой существовал у наших отдаленных предков: выбить ее из камня. При мгновенном свете вдруг из темноты выступят очертания незнакомых мест: что увидел в одно мгновение – старайся удержать в памяти, ошибочно или правильно было твое впечатление. Второй раз не скоро удастся добыть свет – разве ушибешься лбом о стену и из глаз искры посыпятся. Что можно при таком свете увидеть? И как можно требовать отчетливости и ясности в суждениях от тех людей, которых любознательность (будем думать, что любознательность достаточно в нас сильна) осудила странствовать по окраинам жизни? И как можно их дело приравнивать к делу обитателей центров?

---

<sup>9</sup> Мир и жизнь слишком фрагментарны – Г. Гейне (нем.).

## 2

Закономерность явлений природы считается чем-то столь понятным, само собой разумеющимся, что находят возможным искать ее корни не в реальности действительной жизни, а в характере нашего разума. На самом деле, закономерность явлений природы – самое загадочное из всего того, что нам приходится наблюдать в жизни. Откуда порядок? Почему порядок, а не хаос и беспорядочность? И если бы гипотеза закономерности не приносила с собой столько практических выгод, люди никогда бы не соблазнились возводить ее в сан вечной и непререкаемой истины. Но благодаря ей, оказалось возможным предвидение, *savoir pour prévoir*,<sup>10</sup> а вместе с тем господство над природой, и философы, всегда преклонявшиеся перед успехом, стали наперерыв заискивать у нее и первым делом предложили ей высший титул, каким они располагали – титул вечной истины. Но и этого ей показалось мало: *l'appétit vient en mangeant*.<sup>11</sup> Как старуха в сказке о золотой рыбке, причинность захотела, чтоб сама рыбка была у нее на посылках... Этого уже кой-кто не стерпел – но только кой-кто...

---

<sup>10</sup> Знать, чтобы предвидеть (*фр.*).

<sup>11</sup> Аппетит приходит во время еды (*фр.*).

### 3

Оседлый человек говорит: «Как можно жить без уверенности в завтрашнем дне, как можно ночевать без крова!» Но вот случай навсегда выгнал его из дома, – и он ночует в лесу. Не спится ему: он боится дикого зверя, боится своего же брата, бродяги. Но, в конце концов, он все-таки вверится случаю, начнет жить бродягой и даже, может быть, спать по ночам.

## 4

Писатель, особенно молодой и неопытный писатель, воображает, что он обязан дать своему читателю самые полные ответы на всевозможные вопросы. И так как добросовестность обыкновенно мешает ему закрывать глаза и игнорировать наиболее мучительные сомнения, то он волей-неволей начинает трактовать о «первых и последних вещах». И не умея сказать на эти темы ничего путного – не молодое это дело вмешиваться в философские споры, – он начинает горячиться и кричать до хрипоты, до изнеможения. Накричавшись досыта, он устает и умолкает, и потом, если его слова имели успех у публики, сам удивляется, как это ему удалось так легко сделаться пророком. В душе посредственного человека рождается при этом только желание до конца дней своих сохранить свое влияние на людей. Более же чуткие и даровитые натуры начинают презирать и толпу, не умеющую отличать крикунов от пророков, и самих себя за то, что хоть раз в жизни глупая и позорная роль паяца высоких идей могла соблазнить их.

## 5

Как тяжело читать рассказы Платона о предсмертных беседах Сократа! Его дни, часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит... Критон приходит к нему чуть свет и сообщает, что священные корабли не сегодня-завтра вернутся в Афины: Сократ сейчас же готов разговаривать, доказывать... Правда, может быть, не совсем следует доверять Платону. Передают, что Сократ по поводу записанных Платоном диалогов своих заметил: «Сколько этот юноша налгал на меня». Но ведь все источники согласно показывают, что месяц после своего осуждения Сократ провел в непрерывных беседах со своими учениками и друзьями. Вот что значит быть любимым и иметь учеников! Даже умереть спокойно не дадут... Самая лучшая смерть это та, которая почитается самой худшей: когда никого нет при человеке – умереть далеко на чужбине, в больнице, что называется, как собака под забором. По крайней мере в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить, а помолчать: приготовиться к страшному, а может быть, и к великому событию. Паскаль, как передает его сестра, тоже много говорил перед смертью, а Мюссе плакал, как ребенок. Может быть, Сократ и Паскаль оттого так много говорили, что боялись разрыдаться? Ложный стыд!

## 6

Бесполезность и ненужность какой-нибудь мысли или даже целого ряда, системы мыслей не может служить достаточным основанием, чтобы отвергнуть их. Раз мысль явилась – открывай ворота. Ибо если ты закроешь ей легальный вход, она ворвется силой или, как крыловская муха, проползет тайком: мысль не считается с законами чести и морали. Пример: реализм в литературе. При своем появлении он вызвал всеобщее негодование. Зачем нам знать грязь жизни? И точно – незачем; реализм не умел честно оправдать себя. Но так как пройти ему все-таки нужно было, то он, не задумываясь, солгал: сравнил себя с патологией, назвал себя полезным – и добился господства в литературе. Теперь уже все видят, что реализм бесполезен, даже вреден, очень вреден и ничего общего с патологией не имеет, но согнать его с насиженного места не так легко. Давность прошла, и есть *justus titulus*<sup>12</sup> владения.

---

<sup>12</sup> Законное основание (*лат.*).

## 7

Граф Толстой проповедует неделание... Но, кажется, тут он старается без всякой нужды. Мы в достаточной мере «не делаем». Праздность и именно та праздность, о которой мечтает гр. Толстой, вольная, сознательная, презирующая всякий труд праздность есть характернейшая черта нашего времени, – разумеется, я говорю о высших, обеспеченных классах общества, об аристократии духа, к которой преимущественно и обращается со своим словом гр. Толстой. Мы «пишем книги, рисуем картины, сочиняем симфонии» – но разве это труд? Это только видимость труда, развлечение от праздности, так что гр. Толстой гораздо правее, когда, забывая проповедь неделания, он начинает требовать от нас, чтобы мы по крайней мере часов 8 в день ходили за плугом. Это требование имеет смысл. Праздность портит нас. Мы возвращаемся к первобытнейшему состоянию наших предков, Адама и Евы, и, не имея нужды в поте лица заботиться о дневном пропитании, все норовим рвать плоды с запретных деревьев. И, разумеется, несем соответственное наказание. Божеские законы неизменны: в раю разрешается все, кроме любознательности, – даже труд, хоть там он не обязателен, так как предназначается, собственно, для изгнанников из рая. Гр. Толстой это понял: о неделании он заговорил только на минуту – и стал трудиться. Ибо в правильном, постоянном, ровном, ритмическом труде, производителен ли он, или только кажется производителем, как у гр. Толстого его хлебопашество, залог душевного мира. Примером тому могут служить немцы, которые не только начинают, но и кончают день благословением. В раю же, где нет труда и, соответственно этому, нет потребности в послетрудовом отдыхе и долгом сне, все соблазны становятся заманчивыми. Там опасно жить... Может быть, современные праздные люди предугадывают райское состояние? Там, где не будет труда, не будет правильности, ровности, спокойствия, удовлетворения. Там нельзя будет предвидеть даже знающему, там *savoir pour grévoir* никому не будет нужно, там наша наука будет предметом насмешек? Уже и теперь ей многие, разумеется, из нетрудящихся, праздных людей – удивляются. Но многие, преимущественно немцы, еще защищают априорные суждения на том основании, что без них невозможна современная наука, правильная смена явлений и предвидение...

## 8

Для того чтобы вырваться из власти современных идей, рекомендуется знакомиться с историей: жизнь иных народов, в иных странах и в иные времена научает нас понимать, что считающиеся у нас вечными идеи суть только наши заблуждения. Еще один шаг: нужно представить себе человечество живущим не на земле, и все земные вечные идеи потеряют свое обаяние.

## 9

Мы не можем ничего знать о последних вопросах нашего существования и ничего о них знать не будем: это – дело решенное. Но отсюда вовсе не следует, что каждый человек обязан принять как *modus vivendi*<sup>13</sup> какое бы то ни было из существующих догматических учений или даже имеющий такой скептический вид позитивизм. Отсюда только следует, что человек волен так же часто менять свое «мировоззрение», как ботинки или перчатки, и что прочность убеждения нужно сохранять лишь в сношениях с другими людьми, которым ведь необходимо знать, в каких случаях и в какой мере они могут на нас рассчитывать. И потому «как принцип» – уважение к порядку извне и полнейший внутренний хаос. Ну, а для тех, кому трудно выносить такую двойственность, можно учреждать порядок и внутри себя. Только не гордиться этим, а всегда помнить, что в этом сказывается человеческая слабость, ограниченность, тяжесть.

---

<sup>13</sup> Образ жизни (*лат.*)

## 10

Уже пифагорейцы предполагали, что солнце неподвижно и что земля движется. Как долго пришлось истине ждать своего подтверждения!

## 11

Вопреки Эпикуру и его негодованию, мы, в конце концов, принуждены сказать себе, что все, что угодно, может произойти из всего, чего угодно. Это не значит, что и в самом деле камень когда-либо обращался в хлеб или что из туманных пятен мог «естественно» возникнуть видимый мир. Но мы в своем уме и в своем опыте не находим решительно ничего, что бы давало нам основание хоть сколько-нибудь ограничивать произвол в природе. Если бы действительность была иной, чем теперь, она бы оттого не стала нам казаться менее естественной. Иными словами: может быть, в человеческих суждениях о явлениях есть элементы и необходимые, и случайные, но, несмотря на все попытки, мы до сих пор не нашли и, по-видимому, никогда не найдем способа отделять первые от последних. Сверх того, мы не знаем, какие из них более существенны и важны. Отсюда вывод: философия должна бросить попытки отыскания *veritates æternæ*.<sup>14</sup> Ее задача научить человека жить в неизвестности – того человека, который больше всего боится неизвестности и прячется от нее за разными догматами. Короче: задача философии не успокаивать, а смущать людей.

---

<sup>14</sup> Вечные истины (*лат.*).

## 12

Когда человек замечает в себе какой-нибудь недостаток, от которого он никакими способами не может избавиться, – ему ничего больше не остается, как объявить этот недостаток качеством. И чем серьезнее и значительнее недостаток, тем настоятельнее сказывается потребность облагородить его. От смешного до великого тоже только один шаг, и неискоренимый порок у сильных людей всегда переименовывается в добродетель.

## 13

Метафизика, в сущности, мало чем отличается от позитивизма. И тут, и там – *закрытые горизонты*, только иначе разрисованные и раскрашенные. Позитивизм любит серую бесцветную краску и простой, ординарный рисунок; метафизика предпочитает светлые, блестящие краски, сложный узор и всегда разрисовывает свое полотно *под бесконечность*, что, при знании законов перспективы, ей нередко удается. Но полотно ее достаточно прочно, и через него никакими ухищрениями не пробраться в «иной мир». Тем не менее, художественные перспективы сами по себе очень заманчивы, так что все-таки у метафизиков есть из-за чего ссориться с позитивистами.

## 14

Задача писателя: идти вперед и делиться с читателями своими новыми впечатлениями. Так что в сущности, вопреки принятому мнению, он совсем и не обязан *доказывать* что-либо. Но ввиду того, что по пути к нему пристают всякого рода полицейские агенты – вроде морали, логики, науки и т. п., – нужно иметь всегда наготове известного рода аргументацию, чтоб отвязаться от назойливых охранителей. Причем о *качестве* аргументации можно и не слишком заботиться. Ведь нет никакой надобности быть «внутренне правым». Вполне достаточно, если заготовленные соображения покажутся убедительными тем, которые поставлены охранять пути.

## 15

*Тайна «внутренней гармонии» Пушкина.* – Для Пушкина не было ничего безнадежно дурного. Даже больше: все было для него пригодным. Хорошо согрешить, хорошо и раскаяться. Хорошо сомневаться – еще лучше верить. Весело, «обув железом ноги», мчаться по льду, уйти побродить с цыганами, помолиться в храме, поспорить с другом, помириться с врагом, упиться гармонией, облиться слезами над вымыслом, вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее. Пушкин умел плакать, а кто умеет плакать, тот умеет и надеяться. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», – говорит он, и кажется, что слово «страдать», так украсившее стихотворение, появилось случайно, ввиду того, что не нашлось более подходящей рифмы к слову «умирать». Дальнейшие стихи, предназначенные объяснить слова «мыслить и страдать», служат тому доказательством. Пушкин мог бы повторить за древним героем: «Опасность опасна для других, а не для меня». В этом тайна его гармонических настроений.

## 16

Нужно взрыть убитое и утоптанное поле современной мысли. Потому во всем, на каждом шагу, при случае и без всякого случая, основательно и неосновательно следует осмеивать наиболее принятые суждения и высказывать парадоксы. А там – видно будет.

## 17

*Что такое мировоззрение?* – Как известно, Тургенев был реалистом и с первых же своих произведений стремился возможно правдиво изображать жизнь. Хотя у нас не было настоящих теоретиков реализма, но после Пушкина русскому писателю нельзя было слишком далеко уноситься от жизни. Даже тем, кто решительно не знал, что можно сделать из «действительности», приходилось говорить о ней и только о ней. Для того же, чтоб впечатление от нарисованных картин не было слишком тягостным – писатель старался припасти заблаговременно мировоззрение, которое в литературе еще до сих пор играет роль волшебного жезла: с его помощью все, что угодно, может обратиться во все, что угодно.

Большинство тургеневских произведений в этом смысле чрезвычайно любопытны. Но особенно интересным представляется «дневник лишнего человека». Тургенев впервые ввел в русскую литературу выражение «лишний человек». Потом о лишних людях говорили много, бесконечно много, хотя и до настоящего времени так же мало до чего договорились, как и пятьдесят лет тому назад. Лишние люди есть – и сколько еще, а что с ними делать – неизвестно. Остается одно: изобретать по поводу них мировоззрения. В 1850 году Тургенев, тогда еще молодой человек, так именно и разрешил представившуюся ему задачу. Свой рассказ он заканчивает юмористической припиской от имени неизвестного читателя рукописи:

Сею рукопись читал  
И содержание Онной не одобрил  
Петр Зудотешин  
М М М М  
Милостивый Государь  
Петр Зудотешин  
Милостивый Государь Мой.

Очевидное дело, Тургенев держался того мнения, что за каждой трагедией должен следовать водевиль, и что в этом сущность мировоззрения. Не менее очевидно, что в своем суждении Тургенев не стоит одиноко, а имеет за собой всю европейскую цивилизацию. Тургенев был образованнейшим, культурнейшим из русских писателей. Почти всю жизнь свою он провел за границей и впитал в себя все, что могло дать западное просвещение. Он сам это знал, хотя по свойственной ему преувеличенной скромности, иногда даже раздражающей своей демонстративностью, никогда об этом прямо не говорил. Он глубоко верил, что только знание, т. е. европейская наука, может открыть человеку глаза на жизнь и объяснить все, требующее объяснения. С этим критерием он подходит и к гр. Толстому: «Самый печальный пример отсутствия истинной свободы, – пишет уже почти 60-летний Тургенев в своих литературных воспоминаниях, – отсутствия истинной свободы, проистекающего от отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого („Война и Мир“), которое в то же время по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что появилось в нашей литературе с 1840 г. Нет! Без образования, без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям, даже к своему народу, к своей истории – немислим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя». Послушать Тургенева – и в самом деле подумаешь, что он добыл на Западе великую тайну, дававшую ему право бодро и спокойно держаться в тех случаях, когда другие люди приходят в отчаяние и теряют голову... Через год после того, как были написаны литературные воспоминания, из которых взяты мною вышеприведенные строки о Толстом и образовании, Тургеневу пришлось лично присутствовать при казни знаменитого когда-то

убийцы Тропмана. Свои впечатления он бесподобно передает в большой статье, называющейся «Казнь Тропмана». Статья производит потрясающее действие – мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что это одна из лучших, по крайней мере, сильнейших его вещей. Правда, гр. Толстому удалось с неменьшей же силой описать сцены на бойне, так что, может быть, читателю, имея это в виду, не следует слишком отдаваться во власть художнику. Но все-таки, когда Тургенев рассказывает, что в решительный момент, когда палачи, точно пауки на муху, набросились на Тропмана и повалили его, когда он рассказывает, что в этот момент у него «земля тихо поплыла под ногами» – не верить ему нельзя. Люди мало умеют отзываться на происходящие вокруг них ужасы, но бывают минуты, когда дикая, вопиющая несообразность и обидность нашего положения вдруг предстает пред нами с неотразимой ясностью и заставляет нас смотреть на себя. И тогда почва уходит из-под наших ног. Но ненадолго. Ужас от чувства беспочвенности быстро отрезвляет человека. Забыть все – только бы вернуться к родной земле! Тургенев, 60-летний старик, оказался в этом смысле столь же пугливым, как и в молодые годы, когда писал свой «дневник лишнего человека». Описание казни Тропмана он заканчивает следующими словами: «Кому неизвестно, что вопрос о смертной казни есть один из очередных, неотлагаемых вопросов, над разрешением которых трудится современное человечество? Я буду доволен... если рассказ мой доставит хоть несколько аргументов защитникам отмены смертной казни или, по крайней мере, отмены ее публичности». Снова гора родила мышь! После трагедии дается водевиль, мировоззрение вступает в свои права, и почва возвращается под ноги. Повторяю и подчеркиваю: Тургенев не является единственно ответственным лицом за свои суждения. Его устами говорит вся европейская цивилизация. Она принципиально отвергает всякого рода неразрешимые вопросы и выработала своим тысячелетним опытом приемы, посредством которых человек научается извлекать пользу из всего, даже из крови своего ближнего. Словом «польза» объясняются какие угодно ужасы и даже преступления. А Тургенев был, как известно, мягким, «гуманным» человеком и несомненным идеалистом: в молодости он даже прошел школу Гегеля. От Гегеля узнал, какое громадное значение имеет образование и как необходимо образованному человеку иметь полное и законченное, непременно законченное, «мировоззрение».

## 18

Хвалить самого себя считается предосудительной нескромностью, хвалить свою партию, свою философию, свое миросозерцание – почитается чуть ли не высшим долгом. И даже лучшие писатели по крайней мере столько же заботились о прославлении своего миросозерцания, сколько об его «обосновании» – причем в первом деле всегда успевали больше, чем во втором. Доказаны или не доказаны их идеи – они самое нужное, что бывает в жизни: в горе они утешительницы, в трудном положении – умные соответчицы. С ними и умирать не страшно – они пойдут и за могилу с человеком в качестве единственного на земле нетленного богатства. Все это философы говорили о своих идеях – и очень красноречиво говорили, не хуже, чем адвокаты о своих клиентах, ворах и мошенниках. А между тем о философах еще никто ни разу не сказал: нанятая совесть. Почему?

## 19

Некоторые дикари верят, что их цари не нуждаются в пище и никогда ничего не едят и не пьют. На самом деле, цари едят и пьют, и даже любят поесть и попить больше, чем обыкновенные смертные, так что им не хочется даже ради приличия слишком долго воздерживаться, и они нередко прерывают затянувшиеся религиозные церемонии, чтоб подкрепить свое брненное тело. Но этого никто не должен видеть, об этом никто не должен знать, и потому царя каждый раз, когда ему захочется есть, закрывают от глаз народа пурпуровым покрывалом. Метафизики напоминают мне этих диких царей. Они хотят, чтоб все думали, что эмпиризм, т. е. вся действительность, для них не существует, что им нужны одни только чистые идеи. И чтоб поддержать эту фикцию, они являются на люди не иначе, как облаченные в пурпур высоких слов. Толпа отлично знает, что ее обманывают, но так как ей нравятся пышные зрелища и яркие цвета, с одной стороны, а с другой, у ней мало тщеславия и желания прослыть проникательной, то она редко показывает, что понимает смысл комедии. Наоборот, она охотно прикидывается одураченной, чуя инстинктом, что актеры тем старательней исполняют свои роли, чем прочней в них живет убеждение, что их игра принимается за серьезное и настоящее дело. Только неопытные юноши и дети, не понимающие всего великого значения условности в этом мире, от времени до времени начинают с негодованием стыдить и обличать актеров – подобно ребенку в известной андерсеновской сказке, так неожиданно и некстати разрушившему всеобщую добровольную иллюзию своим криком «да король ведь гол». Ведь и без него все знали, что король гол, что метафизики не только не умеют ничего объяснить, но до сих пор не придумали ни одной свободной от противоречия гипотезы. Но говорить об этом вслух не полагается. Нужно верить, что цари дикарей ничего не едят, что философы проникли в тайны мира, что идеи ценней эмпирических благ и т. д., и т. д. Остается вопрос: взрослых можно склонить к условной лжи, но как быть с детьми? Тут единственное средство – столь прославленная Гегелем пифагорейская система воспитания. Дети до тех пор должны молчать и не возвышать голоса, пока не поймут, что не обо всем можно говорить. У нас так и практикуется. У нас ученики молчат, долго молчат, не пять лет, как того требовали пифагорейцы, а десять и более – до тех пор, пока не научатся говорить, как их учителя. Потом им предоставляется свобода, которой они не хотят, да и не умеют уже воспользоваться. Может быть, у них и были или по крайней мере могли вырасти крылья, но они всю жизнь свою, подражая учителям, ползали по земле – где уж им теперь мечтать о полете! Культурного, много учившегося человека мысль о возможности оторваться хотя бы на мгновение от земли приводит в ужас – как будто бы ему было заранее известно, к каким это приведет результатам.

## 20

Лучший и убедительнейший способ доказательства – начать свои рассуждения с безобидных, всеми принятых утверждений. Когда подозрительность слушателя достаточно усыплена, когда в нем даже родилась уверенность, что вы собираетесь подтвердить любимейшие его идеи – тогда наступил момент открыто высказаться, но непременно как ни в чем ни бывало, спокойным тоном, тем же, которым говорились раньше трюизмы. О логической связи можно не заботиться. На человека обыкновенного гораздо более действует последовательность в интонации, чем последовательность в мыслях. Так что если вам только удастся, не нарушив тона, вслед за рядом банальностей и общих мест, высказать заготовленное ранее подозрительное и непринятое мнение, ваше дело сделано. Читатель не только не забудет ваших слов – он будет ими терзаться, мучиться, пока не согласится с вами.

## 21

Привычка к логическому мышлению убивает фантазию. Человек убеждается, что есть только один путь к истине через логику, и свернуть с него – значит идти наверняка к нелепости. Вне логики все – заблуждение, которое становится тем более роковым, чем ближе мы подходим к последним вопросам бытия. Здесь ариаднин клубок логики уже давно весь размотался, но нить крепко держит человека, не пуская его вперед. Он начинает топтаться на одном месте, нимало не подозревая, что попал в такое глупое положение благодаря принятым им излишним мерам предосторожности. Он боялся заблудиться! Но тогда лучший способ – оставаться дома. Раз вышел в путь, хочешь быть Тезеем и убить Минотавра, нужно перестать слишком дорожить безопасностью и *быть готовым никогда не выйти из лабиринта*. Правда, рискуешь потерять Ариадну, – оттого-то в дальний путь следует собираться лишь после того, когда семейные радости успели уже опостылеть. Тогда нарочно порвешь нить, которая привязывает тебя к очагу, чтоб иметь пред совестью законный предлог не возвращаться домой. Философия с логикой не должна иметь ничего общего; философия есть искусство, стремящееся прорваться сквозь логическую цепь умозаключений и выносящее человека в безбрежное море фантазии, фантастического, где все одинаково возможно и невозможно. Разумеется, с привычками к домоседству трудно быть хорошим философом – и то обстоятельство, что судьбы философии всегда находились в руках профессоров, может быть объяснено исключительно нежеланием завистливых богов дать смертным всеведение. Пока оседлые люди будут искать истины – яблоко с дерева познания не будет сорвано. За это дело должны взяться бездомные авантюристы, природные кочевники, для которых *ibi patria, ubi bene*.<sup>15</sup> Я думаю, что если бы не семья и семейные привычки, гр. Толстой, доживший до такой глубокой старости, рассказал бы нам много важного и интересного... А может быть, если бы он не женился, он, как Ницше, дошел бы до безумия. Направо поехать – женатому быть, налево – убитому быть. Средней дороги философ никогда не избирает, богатство ему не нужно, он не знает, что делать ему с деньгами. Но пойдет ли он направо или налево, в обоих случаях его не ждет добро.

---

<sup>15</sup> Отечество там, где хорошо (*лат.*).

## 22

Поскребите русского, и вы найдете татарина. Культурность – наследственный дар, и сразу привить ее себе почти никогда не удастся. К нам, в Россию, цивилизация явилась вдруг, когда мы были еще дикарями, и сразу стала в позиции укротительницы, действуя сперва приманками, а потом, когда почувствовала свою власть, и угрозами. Мы поддались быстро и в короткое время огромными дозами проглотили то, что европейцы принимали в течение столетий, с постепенностью, приучающей ко всякого рода ядам, даже самым сильным. Благодаря этому, пересадка культуры в России оказалась совсем не невинным делом. Стоило русскому человеку хоть немного подышать воздухом Европы, и у него начинала кружиться голова. Он истолковывал по-своему, как и полагалось дикарю, все, что ему приходилось видеть и слышать об успехах западной культуры. Ему говорили о железных дорогах, земледельческих машинах, школах, самоуправлении, а в его фантазии рисовались чудеса: всеобщее счастье, безграничная свобода, рай, крылья и т. д. И чем несбыточней были его грезы, тем охотнее он принимал их за действительность. Как разочаровался западник Герцен в Европе, когда ему пришлось много лет подряд прожить за границей! И ведь он, несмотря на всю остроту своего ума, нисколько не подозревал, что Европа менее всего повинна в его разочаровании. Европа давным-давно забыла о чудесах: она дальше идеалов не шла; это у нас в России до сих пор продолжают смешивать чудеса с идеалами, как будто бы эти два ничего общего меж собой не имеющие понятия, были совершенно однозначными. Ведь наоборот: именно оттого, что в Европе перестали верить в чудеса и поняли, что вся человеческая задача сводится к устройению на земле, там начали изобретать идеалы и идеи. А русский человек вылез из своего медвежьего угла и отправился в Европу за живой и мертвой водой, ковром-самолетом, семимильными сапогами и т. п. вещами, полагая в своей наивности, что железные дороги и электричество – это только начало, ясно доказывающее, что старая няня никогда не говорила неправды в своих сказках... И как раз это случилось в то время, когда Европа навсегда покончила с астрологией и алхимией и вышла на путь положительных изысканий, приведших к химии и астрономии.

## 23

Общее предположение всякой метафизики: диалектическим развитием какого-нибудь понятия можно прийти к построению целой системы. На самом деле уже первый вывод бывает обыкновенно ложным – о дальнейших и говорить нечего. Но так как ложь в области отвлеченных понятий чрезвычайно трудно отличить от истины, то часто метафизические системы имеют очень убедительный вид. Их главный недостаток вскрывается только случайно: когда у человека притупляется вкус к диалектической игре ума – он, как Тургенев, под конец жизни внезапно убеждается в ненужности философских построений. Рассказывают, что какой-то математик, прослушавши музыкальную симфонию, спросил: «Что она доказывает?» Разумеется, ничего не доказывает, кроме того, что у математика не было вкуса к музыке. Тому, у кого нет вкуса к диалектике, метафизика тоже не может ничего доказать. Поэтому людям, заинтересованным в успехах метафизики, нужно всегда поддерживать в обществе убеждение, что вкус к диалектике делает честь человеку, свидетельствуя о возвышенности его души.

## 24

Человек привык иметь убеждения, это – факт. Все мы не можем обойтись без приживальщиков, хотя в глубине души и презираем их.

## 25

Сократ и Платон стремились под вечно изменяющейся видимостью найти постоянную, неизменную сущность. В платоновских «идеях» и воплотилось это стремление. Видимая, никогда себе не равняющаяся, принимающая миллионы разнообразных форм действительность – не есть истинная реальность. То, что реально, должно быть постоянно. Оттого-то идеи предметов реальны, сами же предметы фиктивны. Таким образом, корнем платоновского мировоззрения является основной недостаток человеческого мышления – недостаток, признанный за высшее достоинство. Философу трудно уследить за волнуемою, капризной жизнью, и он решает, что это не жизнь, а фикция. Диалектика властна только над общими понятиями – и общие понятия возведены в идеал. Со времен Платона и Сократа наибольший успех имели именно те философы, которые учили людей отдавать преимущество неизменному, всегда себе равному пред изменчивым и непостоянным. Обыкновенные люди, живущие бессознательно, т. е. никогда не подводящие итогов своим душевным расходам и приходам, всегда смотрели на философов, как на своих добровольных бухгалтеров. Еще афинское юношество с любовным интересом следило за тем, как искусно Сократ доискивался посредством своей диалектики затерянных всеми «последних оснований» человеческих поступков. В бухгалтерии, как известно, ни одна копейка не должна исчезать бесследно, и Сократ оправдывал возлагавшиеся на него надежды. Равенство между активом и пассивом человека получалось у него идеальное. Может быть, в этом и секрет того странного обстоятельства, что столь беспорядочные и неуравновешенные натуры, как Алкивиад, всей душой привязывались к Сократу. Алкивиад давно потерял счет своему состоянию, и оттого от времени до времени ему приходилось обращаться к Сократу, который своими речами и рассуждениями вносил в душевный хаос своего молодого друга порядок и гармонию: Алкивиад отдыхал с Сократом. Разумеется, отдыхал с тем, чтобы потом опять начать свою бурную жизнь: отдых бывает так сладок утомленному человеку! Но выводить отсюда, что отдых нужен всем и, главное, всегда, разве может быть что-нибудь более нелепое? Сократ же именно так смотрел на свои идеи. Он хотел, чтобы люди всегда отдыхали и видели в отдыхе высшую цель жизни. Нам легче судить о Сократе благодаря тому, что у нас есть гр. Толстой. Вероятно, физиологист Зофир сказал бы о Толстом то же, что он говорил о Сократе, что в нем кроется много дурных наклонностей. Зофира не было, но Толстой сам рассказал о себе, какой он дурной человек и как ему приходилось бороться с собой. Толстой по своей природе человек не слишком смелый; только долгим упражнением воли он приучил себя к храбрости. Как боялся он в молодости смерти! И как он умел скрывать свою боязнь! И потом, в зрелом возрасте, когда он писал свою исповедь, главным вдохновителем его был страх смерти. Он побеждал в себе этот страх и все другие страхи, и думал, что так как победить в себе страх очень трудно, то уметь не бояться опасности много лучше, чем бояться. А между тем – кто знает? может быть, «трусость», бедная, жалкая, так оклеветанная, подпольная трусость вовсе уже не такой порок. Может быть даже добродетель! Вспомните Достоевского и его героев, вспомните Гамлета. Если бы подпольный человек ничего не боялся, если бы Гамлет по своей природе был гладиатором, у нас бы до сих пор не было бы ни трагической поэзии, ни философии. Как известно, страх смерти был всегда вдохновителем философов, – если бы нужно было, я бы мог в доказательство привести сколько угодно цитат из древних и новых авторов. Может быть, поэтический демон Сократа, сделавший его мудрецом, был только олицетворенным страхом. Или его предостерегающие сны! То, чем он переполнялся и перемучился днем, не оставляло его и ночью. Уже после приговора Сократу приснилось, что ему следует заниматься искусствами, и чтобы не восстановить против себя богов, он в 70 лет начал сочинять стихи. Толстой тоже в 50 лет стал заниматься добрыми делами, о которых прежде не хотел и

думать. Если бы в наше время было принято выражаться мифологически, он бы тоже, может быть, рассказал нам о своем демоне или снах. Но Толстой говорит научным языком и сводит счёты с моралью, а не с богами и демонами. Многие современные Алкивиады, в течение шести дней недели купающиеся в мутных волнах жизни, приходят по воскресеньям омыться в чистой воде незапятнанных толстовских идей. Бухгалтерия довольствуется этим скромным успехом и воображает, что если раз в неделю она обращает на себя всеобщее внимание, то значит, что она есть сущность жизни и что, кроме нее, больше ничего человеку не нужно. С таким же правом содержатели бань могли бы из того, что к ним по субботам собирается так много народа, заключить, что в течение недели не нужно делать никаких движений, чтоб не потеть и всегда оставаться чистым – точно сейчас из бани.

## 26

У одного старинного французского писателя, современника Паскаля, я встретил следующие замечательные слова:

«L'homme est si misérable que *l'inconstance avec laquelle il abandonne ses desseins, est, en quelque sorte, sa plus grande vertu*; parce qu'il temoigne par là qu'il y a encore en lui quelque reste de grandeur qui le porte à se dégoûter de choses qui ne méritent pas son amour et son estime».<sup>16</sup> Как далеко ушла современная мысль даже от возможности такого рода предположений! Считать непостоянство высшей человеческой добродетелью! Ведь чтоб добиться чего-нибудь на земле – нужно уметь всего себя, всю жизнь свою отдать служению одной цели. Чтоб стать виртуозом, артистом, мастером своего дела, нужно с истинно ангельским или ослиным терпением десятки, сотни, тысячи раз перепробовать разные приемы выражения своих мыслей и настроений и не жалеть ни труда, ни времени, ни здоровья. Все должно быть на втором плане; на первом – искусство. У Гончарова превосходно рассказано в «Обрыве» о том, как виолончелист целый день бился, точно рыба об лед, чтоб потом, к вечеру сыграть хорошо. И это обыкновенная вещь. Постылый, скучный, раздражающий труд – есть условие развития гения. Оттого, верно, люди так редко добиваются чего-нибудь. Гений должен согласиться культивировать в себе осла – это условие так унижительно, что на него человек идет только в крайнем случае. Большинство предпочитает середину между посредственностью и гением – талант. Не всякому охота менять всю жизнь свою на искусство. А сколько раз гений под конец своей карьеры раскаивается в своем выборе! «Лучше было не удивлять мир и жить в этом мире», – говорит Ибсен в последней своей драме. Гений – жалкий и слепой маньяк, которому прощаются все его странности ввиду приносимой им пользы. И все-таки мы все поклоняемся настойчивости и гению – единственному богу, в которого еще верит современность, и похвальное слово непостоянству вряд ли найдет в ком-либо из наших современников сочувствие. Вероятно, даже не примут его всерьез.

---

<sup>16</sup> Сколь ничтожным ни было бы непостоянство, с которым человек отказывается от своих намерений, оно в известном смысле его величайшая добродетель, ибо он обнаруживает этим, что у него еще есть некий остаток величия, которое заставляет его отвращаться от того, что не заслуживает его любви и уважения (*фр.*).

## 27

Очень часто мы высказываем представляющееся нам сомнительным суждение в категорической форме и даже настаиваем на его несомненности. Мы хотим посмотреть, в какой степени вызовет оно возражения у людей, – а это можно узнать только в том случае, если суждения предъявляются не как предположения, с которыми никто не считается, а как истина, непререкаемая и общеобязательная. И чем большее значение имеет для нас какое-нибудь предположение, тем тщательнее скрываем мы от других его проблематичность.

## 28

Литература трактует всегда труднейшие и важнейшие вопросы нашей жизни, и на этом основании литераторы считают себя самыми значительными людьми. С таким же основанием могли бы прислужники банкира, всегда снующие около денег, считать себя миллионерами. Значительность непонятых и неразрешенных вопросов скорей должна была бы дискредитировать в наших глазах писателей, но они так хорошо умеют говорить о себе и о своей высокой миссии, что в конце концов убеждают всех и, главное, самих себя. Тут, впрочем, не последнюю роль играет и душевная ограниченность. Римские авгуры имели более тонкий и гибкий ум, чем современные литераторы: чтоб обманывать других, им не нужно было обманывать себя. Они в своем кругу не боялись говорить о своей тайне и даже забавляться ею – в полной уверенности, что пред другими, если потребуется, им нетрудно будет оправдаться и сделать соответственное случаю торжественное лицо. А теперь писатель, какую бы невероятность он ни вздумал рассказывать публике, предварительно старается убедить себя. Иначе он не может говорить (лгать).

## 29

«Писатель пописывает, читатель почитывает» – Щедрин очень обидало такое положение вещей. Он бы хотел, чтоб было иначе: чуть только писатель сказал слово – читатель сейчас же на стену. Но читатель вовсе не так прост, как это принято думать: он предпочитает оставаться спокойным и требует, чтоб сам писатель на стену лез. Оттого-то у публики имеют обыкновенно успех только те авторы, которые пишут «кровью своего сердца». Условные турниры, даже самые пышные, никогда не привлекают ни большой публики, ни, тем паче, знатоков искусства. Люди бегут смотреть на бой гладиаторов, где их ждет зрелище настоящей, горячей, дымящейся крови, где будут действительные, а не воображаемые жертвы.

И многие писатели, как истинные гладиаторы, проливают свою кровь, чтоб угодить Цезарю – толпе: *salve, Cæsar, morituri te salutant!*<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Славься, Цезарь – идущие на смерть приветствуют тебя! (*лат.*).

## 30

А. П. Чехов говорит правду не из любви или уважения к «истине» и не в силу того, что долг повелевает нам, как думал Кант, никогда не лгать, даже если бы грозила смерть.

Нет у него и побуждения, столь часто толкающего на безумную дерзость молодые и пылкие души: выпрямиться во весь рост, высоко нести голову. Наоборот, Чехов всегда ходит сгорбившись, понурив голову и никогда не обращает взоров к небесам, ибо там для него не начертаны знамения. Если он говорит правду, то только потому, что самая крепкая ложь уже не опьяняет его, хотя бы он ее принимал не в тех скромных дозах, в каких ее предлагает идеализм, а в самом непомерном количестве – бочками сороковыми.

Он бы только чувствовал ее горечь, но она не могла бы ему вскружить голову, как Шиллеру, Достоевскому или даже Сократу, который, как известно, мог пить сколько угодно вина, но хмелел от самой обыкновенной лжи.

## 31

Noblesse oblige.<sup>18</sup> Момент обязательности, принудительности, долга, выдвинутый Кантом, как существенный, чуть ли не единственный предикат моральных понятий, в конце концов, служит лишь указанием на то, что он в себе самом и в людях, к которым он обращался – Кант был скромным человеком и даже в глубине души не делал различия меж собой и другими – видел только существа, подлежащие облагораживающему действию нравственности. Noblesse oblige – формула не для родового дворянства, умеющего видеть в своих обязанностях свои главные привилегии, а для образованных, разбогатевших выскочек, алчущих приобрести знатный титул. Они привыкли лгать, трусить, обманывать, скаречничать, и их пугает необходимость «бескорыстно» говорить правду, смело идти навстречу опасности, расточать богатства. И они, чтоб не забыть, ежечасно повторяют себе и своим детям, в жилах которых еще течет кровь их лгавших и пресмыкавшихся отцов: «Ты не должен лгать, ты не должен трусить, ты должен быть великодушным, щедрым». И все это непременно бескорыстно, так чтобы никому ничего не было известно. Это глупо, непонятно, нелепо – но «noblesse oblige».

---

<sup>18</sup> Благородство обязывает (*лат.*).

## 32

*Homo homini lupus*<sup>19</sup> – одна из незыблемейших предпосылок вечной морали. В каждом из своих ближних мы подозреваем опасного врага и потому боимся его. «Этот человек легкомыслен, – если мы не обуздаем его законом, он нас погубит», – такая мысль является у нас каждый раз, когда кто-нибудь выходит из освященной традицией колеи.

Опасение справедливое: мы так бедны, так слабы, нас так легко разорить и погубить! как же нам не бояться? А между тем, нередко под опасными и грозными поступками кроется нечто значительное и важное, что следовало бы внимательно и сочувственно рассмотреть. Но у страха глаза велики, мы видим опасность и только опасность – и строим мораль, за которой, как за крепостной стеной, отсиживаемся всю жизнь от врагов. Только поэты брались воспевать опасных людей – Дон Жуанов, Фаустов, Тангейзеров. Но с поэтами никто не считается. Здравый смысл ценит гораздо выше комивояжера или приват-доцента, чем Байрона, Гете и Мольера.

---

<sup>19</sup> Человек человеку – волк (*лат.*).

## 33

Возможности, открывающиеся человеку в жизни, сравнительно очень ограничены. Нельзя всего увидеть, нельзя все понять, нельзя ни подняться слишком высоко над землей, ни проникнуть в ее глубину. Что было – навсегда скрыто, что будет – мы не умеем предугадать и наверное знаем, что у нас никогда не вырастут крылья. Закономерность, неизменная закономерность явлений полагает предел нашим стремлениям, загоняет нас на узкий, избитый путь обыденности. Но даже и этот путь не дано нам исходить вдоль и поперек. Мы должны зорко глядеть себе под ноги и на каждом шагу останавливаться, ибо малейшая неосторожность в жизни грозит нам гибелью. Но ведь мыслима и иная жизнь. Жизнь, в которой слово «гибель» не существует, где ответственность за поступки если и не отменена совсем, то не имеет столь рокового и случайного характера, как у нас, и где, с другой стороны, нет «закономерности», а стало быть, есть бесконечное количество возможностей. Там чувство страха – позорнейшее чувство – исчезает. Там, стало быть, и добродетели совсем не те, что здесь. Бесстрашие пред опасностью и щедрость, даже расточительность и у нас почитаются добродетелями, но почитаются без всяких оснований. Сократ был совершенно прав, когда доказывал, что не всякая храбрость, а только храбрость, измеряющая вперед опасность и шансы победы, имеет свое оправдание. В такой же мере правы и те экономные, расчетливые люди, которые осуждают расточительность. Бесстрашие и расточительность не к лицу смертным, которым прилично, ввиду их бессилия и бедности, всегда трепетать и считать каждый свой грош. Оттого-то эти две добродетели так редко встречаются между людьми, и в тех случаях, когда встречаются, вызывают в толпе суеверное благоговение к их носителям. «Этот человек ничего не боится и ничего не жалеет: он, верно, не человек, а полубог, даже, быть может, бог». Сократ не верил в богов и потому хотел оправдать расчетом добродетель. Кант тоже не верил в Бога и потому выводил свою мораль из «закона». Но если есть Бог, если все люди – дети Бога, то, значит, можно ничего не бояться и ничего не жалеть.

Тогда безумно расточающий свою и чужие жизни и благосостояние, даже свое дарование, свой гений человек правее расчетливых философов, тщетно ищущих устройства человечества на земле.

## 34

Нравственные люди – самые мстительные люди, и свою нравственность они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних, они хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, т. е. чтоб вместе с ними все люди восстали на осужденного ими, *чтоб даже собственная совесть осужденного была на их стороне*. Только тогда они чувствуют себя вполне удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам.

## 35

*Закоренелость во зле.* Еретиков часто преследовали за ничтожнейшие отступления от господствующих верований. Именно их упорство в пустяках более всего и раздражало. «Отчего они не соглашаются на такую пустую уступку? Серьезных оснований у них не может быть. Они только хотят огорчать нас, делать нам назло». Постепенно вражда шла crescendo, и появлялись костры и пытки, все против закоренелости во зле...

## 36

Не помню, где я вычитал, у Тургенева или у Толстого, что люди, побывавшие под судом, всегда приобретают особенно благородное выражение лица. Хотя логика и рекомендует осторожность в обратных заключениях, но, куда ни шло, на этот раз позволю себе рискнуть и сделать вывод: благородное выражение в лице есть признак того, что человек побывал под судом – разумеется, не за политическое преступление, а за воровство или взяточничество.

## 37

Самые важные и значительные мысли, откровения являются на свет голыми, без словесной оболочки: найти для них слова – особое, очень трудное дело, целое искусство. И наоборот: глупости и пошлости сразу приходят наряженными в пестрые, хотя и старые тряпки – так что их можно прямо, без всякого труда, преподнести публике.

## 38

Странное нетерпение овладело в последнее время русскими писателями. Все взапуски пустились за «последним словом». Им кажется, что последнее слово будет наверное добыто – вопрос лишь в том, кто скорее до него добежит...

## 39

Появление Сократа на философском горизонте приветствуется всеми историками как величайшее событие. Нравы стали расшатываться, отечеству (Афинам) угрожала гибель. Миссия Сократа была в том, чтобы положить конец той отчаянной раскачке моральных суждений, к которой привел крайний индивидуализм и релятивизм софистов. И великий мудрец сделал, как известно, все, что мог. Он покинул свои обычные занятия и семью, он не заботился о завтрашнем дне и учил, учил, учил – простых людей и знатных, умных и глупых, ученых и невежественных. И тем не менее, он отечества не спас. При Перикле Афины процветали без мудрости или независимо от мудрости Сократа. После Перикла, несмотря на то, что учение Сократа нашло себе такого гениального продолжателя, как Платон, роль и значение Афин все падает, и Аристотель был уже воспитателем сына Филиппа Македонского. Значит, мудрость Сократа не спасла отечества, и так как в этом было ее главное назначение, то, стало быть, она не заслуживает традиционного преклонения; нужно либо найти ей какое-нибудь иное оправдание – это было бы правильнее всего, – либо вообще оставить излюбленный прием метафизиков искать *raison d'être*<sup>20</sup> мудрости в ее общественном значении. Это прием очень рискованный. Обыкновенно мудрость идет сама по себе, а общество – само по себе. Их соединяют искусственно – ораторы, приучившие публику и философов думать, что только те задачи заслуживают внимания, которые имеют на своей стороне решительно все: и общественную пользу, и мораль, и даже метафизическую мудрость... Зачем так много? Будет и того, если какой-нибудь новый проект окажется полезным! Где нам еще добиваться санкции морали и метафизики! И наоборот, раз законы морали должны быть автономны и идеи стоят над эмпирическими нуждами человечества, значит, противопоставлять им общественные соображения, даже возможную гибель страны, нельзя. *Pereat mundus, fiat philosophia.*<sup>21</sup> *Если Афины погибли даже из-за мудрости Сократа – это ничего против нее не говорит.* Так должен был бы рассуждать автономный мыслитель. Но *de facto*<sup>22</sup> мыслитель не слишком любит ссориться с отечеством.

<sup>20</sup> Разумное основание (*фр.*).

<sup>21</sup> Пусть мир погибнет, но да будет философия (*лат.*).

<sup>22</sup> Фактически (*лат.*).

## 40

Когда писателю нужно высказать наименее обоснованную мысль свою, которой он почему-либо особенно дорожит и для которой он непременно хочет добиться общего признания, он обыкновенно прерывает на время свое изложение, будто бы затем, чтобы перевести дыхание, и делает небольшое, а иногда и большое отступление, в котором доказывает несостоятельность разных, часто даже не связанных с существом дела положений. Уничтожив победоносно одну или несколько глупостей и тем придав себе вид знающего и основательного человека, он снова возвращается к своей задаче в расчете, что к нему, как к доказавшему свою основательность, уже будут относиться с большим доверием. Расчет вполне правильный. Читатель боится возражать такому ловкому диалектику и предпочитает согласиться с ним, ибо спорить в таких случаях очень рискованно. Такими приемами никто не брезгует – даже величайшие умы, особенно в философии. Оттого идеалисты, прежде чем защищать свои теории, разносят материализм. Материалисты тоже когда-то так поступали и имели, как известно, колоссальный успех.

## 41

Как известно, последовательность обязательна только для учеников, а не для учителей. Творцы великих идей относятся очень пренебрежительно к своим творениям и мало заботятся об их судьбе в мире. Часто детища одного и того же философа так мало похожи друг на друга, что нет возможности найти меж ними даже отдаленные признаки фамильного сходства. Добросовестные ученики, изнывая под бременем непосильной задачи отыскать несуществующее, не раз приходили в отчаяние от своей задачи. Те, кто поумнее, разрешают ее просто. Раз догадавшись, в чем дело, они навсегда отказываются от мысли примирить замечаемые противоречия. Но тем более настаивают они на необходимости изучения философов – изучения обстоятельного, исторического, даже филологического. Таким образом и создалась история философии, в настоящее время вполне заменяющая философию. И ведь история философии, в самом деле, может быть наукой. Ибо путем исторического изыскания, действительно, нередко удается выяснить с большой степенью точности, что именно думал тот или иной философ, в каком смысле он употреблял различные термины и понятия. И так как философов было очень много, то, стало быть, изучение и объяснение их представляет достаточно трудное и почтенное дело, которое вполне заслуживает называться наукой. За хороший перевод или комментарий к главным трудам Канта можно дать человеку диплом доктора философии, т. е. признать его достаточно проникнувшим в важнейшие мировые проблемы. Для какой надобности еще выдумывать новые системы? Или даже писать?

## 42

Восторги творчества! Пустые слова, придуманные людьми, никогда не имевшими случая по личному опыту судить о том, что такое творчество, добывшими свое суждение путем умозаключения: если творение доставляет нам такое великое наслаждение, то что же должен был испытать сам творец! На самом деле творец обыкновенно испытывает одни огорчения. Всякое творение есть творение из ничего. В лучшем случае пред нами безобразный, бессмысленный, большей частью упорный и твердый материал, с трудом поддающийся обработке. Да и неизвестно, как его обрабатывать. Каждый раз в голову приходит новая мысль, и каждый раз новую мысль, на мгновение показавшуюся блестящей и очаровательной, нужно отбрасывать, как негодный хлам. Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего – неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие. Оттого-то большинство людей, даже гениальных, *à la longue*<sup>23</sup> не выносят творческой деятельности. Как только они приобретают технику, они начинают повторяться, зная, что публика не слишком требовательна и довольно охотно выносит однообразие любимца, даже видит в этом достоинство. Всякий ценитель искусства доволен, если узнает в новом произведении «манеру» художника, и мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца. Художники это хорошо понимают и рады бы отвязаться от своей манеры, которая уже им представляется шаблоном. Но это требует слишком большого напряжения сил, новых мук, сомнений, неизвестности – кто однажды пережил «восторги творчества», другой раз добровольно ими не соблазнится. Он предпочитает «работать» по прежде созданному шаблону, лишь бы быть спокойным и твердо уверенным в результатах – благо, кроме него никто не знает, что он уже больше не творец. Сколько тайн в мире, и как легко уберечь тайну от нескромных взоров!

---

<sup>23</sup> В конце концов (*лат.*).

## 43

Писатель взвинчивает себя, чтобы дойти до состояния экстаза: иначе он не берется за перо. Но экстаз не всякий умеет отличать от других, менее возвышенных видов душевного подъема. И так как писателю почти всегда нужно сочинять, то он обыкновенно не имеет терпения долго выжидать и при первых признаках одушевления начинает изливаться. Оттого-то так часто под именем экстаза преподносятся нам дешевые и ничем не замечательные душевные настроения. Особенно легко смешивают с экстазом тот очень распространенный вид весеннего ликования, для которого наш язык изобрел известный меткий эпитет. И, в конце концов, «телячий восторг» встречает у публики более радушный прием, чем истинное вдохновение и глубокий экстаз. Понятней – и ближе.

## 44

Школьная посылка: последовательный скептицизм сам себя опровергает, ибо отрицание возможности знания есть уже утверждение. Но во-первых: скептицизму не обязательно быть последовательным, ибо он не имеет никакого желания угождать догматизму, возводящему последовательность в закон. Во-вторых, где та философская теория, которая, если ее довести до крайних пределов, не уничтожила бы самое себя? И отчего от скептицизма требуют большего, чем от других теорий, от скептицизма, который честно заявляет, что он не может дать даже того, на что другие теории претендуют?

## 45

Аристотелевская логика, вошедшая и в современную логику как ее главная составная часть, явилась, как известно, результатом вечных теоретических состязаний, до которых древние греки были такими охотниками. И действительно, для того, чтобы спорить, нужно иметь общую почву, иными словами, условиться о предпосылках. Но в наше время диалектические турниры, как и всякие другие состязания, уже не привлекают людей. Значит, можно логику отодвинуть на второй план?!

## 46

В «Портрете» Гоголя художник приходит в отчаяние при мысли о том, что пожертвовал своим искусством ради «жизни». У Ибсена в его драме «Когда мы, мертвые, просыпаемся» тоже художник, прославившийся на весь мир, раскаивается в том, что пожертвовал жизнью – искусству. Теперь – выбирай, какого сорта раскаяние тебе более по вкусу.

## 47

Человек часто бывает равнодушен к своему успеху до тех пор, пока его имеет. Стоит только ему потерять свое влияние на людей, и он начинает огорчаться. И – наоборот.

## 48

Инсаров, в качестве человека, готовящегося к битвам, поразил воображение Елены, и она предпочла его Шубину, художнику, и Берсеневу, ученому. Женщины еще с древних времен больше любили воинствующих и военных, чем мирных и статских мужчин. Если бы Тургенев эту мысль облек в менее идеалистическую форму, вероятно, он не сделался бы идолом молодежи. Кто из нас не увлекался Еленой и ее избранником? Кто вообще не увлекался тургеневскими женщинами! А между тем, все они отдаются наиболее *сильному* мужчине. У «высших людей», как у зверей: самцы борются меж собою, самка следит за их борьбой и по окончании ее признает себя рабой победителя.

## 49

Гусеница обращается в куколку и долгое время живет в теплом и покойном мире. Если бы она обладала человеческим сознанием, может быть, она сказала бы, что ее мир есть лучший из миров, даже единственно возможный. Но приходит время, и какая-то неведомая сила заставляет ее начать работу разрушения. Если бы другие гусеницы могли видеть, каким ужасным делом она занимается, они, наверное, возмутились бы до глубины души, назвали бы ее безнравственной, безбожной, заговорили бы о пессимизме, скептицизме и т. п. вещах. Уничтожать то, созидание чего стоило таких трудов! И затем, чем плох этот теплый, уютный, законченный мир! Чтобы отстоять его, необходимо выдумать священную мораль и идеалистическую теорию познания! А до того, что у гусеницы выросли крылья и что она, прогрызши свое старое гнездо, вылетит в вольный мир нарядной и легкой бабочкой – нет никому дела.

Крылья – это мистицизм, самоугрызение же – действительность. Те, которые создают ее, достойны пытки и казни. И на белом свете достаточно тюрем и добровольных палачей: большинство книг тоже тюрьмы, и великие писатели нередко были палачами.

## 50

Ницше и Достоевский являются типическими «обратными симулянтами», если так можно выразиться. Они притворялись душевно здоровыми, хотя были душевно больными. Они хорошо знали, что больны, но проявляли свою болезнь лишь в той мере, в которой чудачество сходило еще за оригинальность. С чуткостью, свойственной всем, находящимся в постоянной опасности, они никогда не переходили за известную черту. Топор гильотины общественного мнения всегда висел над ними: стоило бы только неловким движением зацепить веревку, и казнь совершилась бы сама собой. Но они умели уберечься от лишних движений.

## 51

Так называемые последние вопросы в такой же мере волновали человечество в самом начале сотворения мира, как и в наше время. Уже Адам и Ева хотели «знать» и, рискуя навлечь на себя гнев всемогущего Творца, сорвали плод с дерева познания добра и зла. Каин, жертва которого была негодна Богу, поднял руку на родного брата – ему казалось, что он совершил убийство во имя справедливости для восстановления погрязших прав своих. Со времени Каина ни один человек не мог понять, отчего Творец мира благосклоннее принимает жертву его брата, чем его собственную, и в наши дни Сальери повторяет расправу Каина и отравляет своего брата и благодетеля, Моцарта: «Все говорят – нет правды на земле; но правды нет и выше: для меня так это ясно, как простая гамма». Нет ни одного человека на земле, который бы в этих простых и глубоких словах не узнал собственных мучительнейших сомнений. Отсюда вытекает трагическое творчество, – загадочным образом до сих пор почитаемое всеми высшим родом творчества. Все разгадывается и объясняется. Если сравнить наши знания с знаниями древних, мы окажемся великими мудрецами. Но к загадке о вечной справедливости мы так же мало подошли, как и первый человек, как и убийца Каин. Прогресс, цивилизация, все завоевания человеческого ума в эту область не принесли ничего нового. Как наши праотцы, так и мы с испугом и недоумением останавливаемся при виде уродства, болезни, безумия, нищеты, старости, смерти. Все, что могли сделать до сих пор мудрецы, – это обратить земные ужасы в проблему: может быть, говорят нам, все страшное есть только страшное на вид, и в конце тяжелого пути нас ждет нечто новое. Может быть! Но современный образованный человек, имеющий доступ к мудрости 40 веков исторической жизни человечества, знает об этом не больше, чем древний певец, за свой страх решавший мировые проблемы. Мы, дети угасающей цивилизации, мы, старики от рождения, в этом смысле так же молоды, как и первый человек.

## 52

Говорят, что нельзя обозначить границу между «я» и обществом. Наивность! Робинзоны встречаются не только на необитаемых островах, но и в самых многолюдных городах. Правда, они не одеваются в звериные шкуры и не имеют при себе чернокожих Пятниц, оттого-то никто их и не узнает. Но ведь Пятница и звериная шкура – последняя вещь, и не они делают человека Робинзоном. Одиночество, оставленность, бесконечное, безбрежное море, на котором десятки лет не видно было паруса, – разве мало наших современников живут в таких условиях? И разве они не Робинзоны, для которых люди обратились в далекое воспоминание, с трудом отличаемое от сновидения?

## 53

Быть непоправимо несчастным – постыдно. Непоправимо несчастный человек лишается покровительства земных законов. Всякая связь между ним и обществом порывается навсегда. И так как рано или поздно каждый человек осужден быть непоправимо несчастным, то, стало быть, *последнее слово философии – одиночество.*

## 54

«Лучше быть несчастным человеком, чем счастливой свиньей» – утилитаристы рассчитывали на этом золотом мосте перебраться через пропасть, отделяющую их от обетованной земли идеализма. Но пришла психология и грубо доложила: *«Несчастливых людей нет, все несчастные – свиньи»*. Подпольный философ Достоевского, Раскольников, Гамлет и т. д. – не несчастные люди, судьбу которых можно предпочесть, а несчастные свиньи, и, главное, они сами слишком хорошо это знают... Имеющий уши, да слышит.

## 55

Если ты хочешь, чтобы люди позавидовали твоему горю, даже твоему позору – сделай вид, что ты им гордишься. И если только у тебя достаточно актерского искусства, будь спокоен: ты станешь героем дня. С тех пор, как стала известна притча о фарисее и мытаре, сколь многие, не умевшие исполнить своих обязанностей пред Богом, представлялись евангельскими мытарями и возбуждали к себе сочувствие, даже зависть.

## 56

Философы ужасно любят называть свои суждения «истинами», ибо в таком чине они становятся общеобязательными. Но каждый философ сам выдумывает свои истины. Это значит: он хочет, чтобы его ученики обманывались по выдуманному им способу, право же обманываться на свой манер он оставляет за одним собой. Почему? Почему не предоставить каждому человеку права обманываться, как ему вздумается?

## 57

Когда Ксантиппа облила помоями Сократа, вернувшегося с занятий философией, он, по преданию, сказал: «После бури всегда бывает дождь». Не достойнее ли истины (не мудреца, а *истины*) было бы сказать: «Позанявшись философией, все равно чувствуешь себя облитым помоями», и Ксантиппа дала только внешнее выражение тому, что происходило в душе Сократа. Символы не всегда бывают красивы.

## 58

Из записок подпольного человека: «Я читаю мало, пишу мало и, кажется, думаю мало. Нерасположенный ко мне человек увидит в этом большой недостаток, скажет, что я ленив, может быть, назовет меня Обломовым и при этом вспомнит прописную истину, что лень – мать всех пороков. Друг скажет, что это временное состояние, что я, может быть, не совсем здоров, – словом, найдет оправдывающие обстоятельства, не особенно даже подбирая их, озабоченный более желанием утешить меня, чем сказать правду. Я же сам скажу: подождем. Если к концу моей жизни выйдет, что я „сделал“ не меньше других – значит... значит, что лень может быть добродетелью».

## 59

Берне очень обижался, когда его враги объясняли его негодующие статьи болезнью печени и желудка. Ему казалось, что негодовать и злиться по поводу торжества зла на земле гораздо благороднее и возвышенней, чем по поводу беспорядков, происходящих в собственном организме. Откинув сентиментальность: был ли он прав и точно ли это благороднее?

## 60

Настоящий писатель *брезгает* говорить понаслышке о вещах, которых он сам не видел. Ему кажется унижительным и скучным гимназическое занятие – рассказывать «своими словами» то, что он вычитал в чужих книгах. Да ему и не до того!

## 61

Пока между образованным человеком и народом стоит совесть в качестве единственно возможной посредницы, не может быть и речи о взаимном понимании. Совесть требует жертв и только жертв. Она говорит образованному человеку: ты счастлив, обеспечен, учен – народ беден, невежествен, несчастлив. Откажись от своего благополучия или заморози свою совесть льстивыми речами. Лишь тот, кому нечем жертвовать, кто сам все потерял, – лишь тот может подойти к народу как равный к равному.

Оттого Достоевский и Ницше не боялись говорить от своего имени и не чувствовали себя принужденными ни вытягиваться, ни пригибаться, чтоб стать в уровень с человеком.

## 62

Не знать, чего хочешь, считается одним из самых позорящих обстоятельств. Признаться в этом – значит погубить навеки свою репутацию не только как писателя, но и как человека. И тем не менее, «совесть» требует такого признания. Правда, в этом случае, как почти всегда, требования совести удовлетворяются лишь потому, что они уже не угрожают слишком серьезными последствиями. Помимо того, что теперь мало кто боится когда-то столь страшного суда общественного мнения (публику приучили или приручили, и она с благоговением прислушивается к тому, что ей говорят, и никогда не осмеливается судить), – в конце концов, в признании «я сам не знаю, чего хочу» можно найти даже залог чего-то очень значительного. Ибо те, которые знают, чего хотят, обыкновенно хотят пустяков и добиваются малоценных благ: богатства, славы, в лучших случаях – прогресса или мировоззрения. Над этим не грех и посмеяться иной раз и, пожалуй, близко то время, когда обновившийся Гамлет не со стыдом, а с гордостью провозгласит: я сам не знаю, чего хочу. И толпа будет ему рукоплескать: ибо героям и гордым людям всегда рукоплещут.

## 63

Страх смерти объясняется исключительно чувством самосохранения. Но тогда он должен был бы исчезать у стариков и больных, которым было бы свойственно встречать смерть равнодушно. Между тем, ужас перед смертью свойствен всем живым существам. Не значит ли это, что ужас имеет еще какой-нибудь смысл? И что там, где он не может оберечь живое существо от грозящей гибели, он все же нужен и целесообразен? И что естественнонаучная точка зрения и на этот раз, как почти всегда, останавливается на полпути, не доведя до того конца, к которому она обещала привести человеческий ум?

## 64

Моральное негодование есть лишь более утонченная форма древней мести. Когда-то гнев разговаривал кинжалами, теперь достаточно слов. И счастлив тот, кто хочет и любит казнить своего обидчика, для кого отмщенная обида перестает быть обидой. Оттого мораль, пришедшая на смену кровавой расправе, еще не скоро потеряет свою привлекательность. Но ведь есть обиды, и глубокие, незабываемые обиды, наносимые не людьми, а «законами природы». Как с ними справиться? Тут ни кинжал, ни негодующее слово ничего не поделают. И для того, кто столкнулся с законами природы, мораль временно или навсегда уходит на второй план.

## 65

Фатализм пугает людей – особенно в той своей форме, которая считает возможным ко всему, что происходит, происходило и будет происходить, говорить: да будет так. Как оправдывать действительность, когда в ней столько ужасов? Но *amor fati*<sup>24</sup> не обозначает вечного мира с действительностью. Это только перемирие на более или менее продолжительный срок. Нужно время, чтоб изучить силы и намерения противника: под личиной дружбы старая вражда продолжает жить, и готовится страшная месть.

---

<sup>24</sup> Любовь к року (*лат.*).

## 66

В «последних вопросах бытия» мы нисколько не ближе к истине, чем самые отдаленные предки наши. Это всем известно и, тем не менее, многие продолжают размышлять о бесконечности, не имея никаких надежд на возможность добиться сколько-нибудь удовлетворительных результатов. Очевидно, результат в том смысле, в каком это слово обыкновенно понимается, совсем и не нужен. Мы, в конце концов, доверяемся инстинкту даже в области философии, где, по общему убеждению, царит разум с его пытливыми «почему»... «Почему» умеет посмеяться над всевозможными «потому». Инстинкт же никогда не смеется: он просто *игнорирует* «почему» и ведет человека по самым трудным и непроходимым путям к целям, которые наш божественный разум наверное признал бы нелепыми, если бы умел заблаговременно предугадать их. Но он плохой отгадчик, так что, когда мы приходим к неожиданной для него цели, ему ничего другого не остается, как признать совершившийся факт. И даже оправдать, возвеличить его. А потому – «действительность разумна» – и не только тогда, когда философу платят жалование, – как говорят социалисты о всех философах и некоторые философы, в том числе и наш Вл. Соловьев, о Гегеле, – но даже и тогда, когда его лишают содержания. Даже более: в последнем случае, именно в последнем случае, – вопреки социалистам и Вл. Соловьеву, – действительность становится особенно разумной, философ гонимый, замученный, голодный, холодный, не получающий никакого жалованья, всегда почти бывает крайним фаталистом – хотя это, разумеется, нисколько ему не мешает бранить существующие порядки. Последовательность, как известно, обязательна только для учеников: их ведь достоинство в том, чтоб логически развить идею учителя. Учителя же сами выдумывают идеи и всегда потому вправе одну идею заменить другой. Верховная власть, издающая закон, сама же и отменяет его; обязанность же подчиненных органов состоит в точном, последовательном и строгом истолковании и исполнении предписаний высшей воли.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.